

# 1. ЖИЗНЬ КАК ОТРИЦАНИЕ ЖИЗНИ

**Е**сли, устав донельзя от банальных разговоров на избитые темы, начинаешь рассуждать о чем-либо отвлеченном, вскоре обнаруживаешь, что ход мыслей все равно возвращает суждения к действительности. Однако с внеположной точки зрения, в умозрительном ракурсе, существующий порядок вещей видится иначе. В господствующем дискурсе обнаруживается чертова прорва противоречий. Обстоятельства места и времени, обжитые и обустроенные в обыденном сознании, на взгляд со стороны выглядят непригодными для проживания. Сомнения в сущем множатся и доходят до стадии духовного кризиса. Критицизм, перешедший предел разумного, в философской традиции называется нигилизмом. Нигилист *per se* (в чистом виде) — персонаж из сказки Андерсена, которому в глаз попал осколок зеркала, изготовленного злым троллем. На что бы он ни посмотрел, не видит в том ничего хорошего.

В арсенале формальной логики для прения против рожа есть специальное понятие: *via negationis*. *Via* по латыни — *путь, метод*, а слово *negative* во всех европейских языках, имеющих общую научную лексику, означает *отрицание, удаление, отказ*. Согласно словарю, общий смысл данного понятия — *определение через отрицание*. Чтобы понять, чем является та или иная вещь на самом деле, нужно отказаться от умозрительных иллюзий, которые скрывают ее сущность. Однако такое поведение в цивилизованном обществе часто заканчивается скандалом. Ибо социальная реальность не что иное, как конвенция — некая договоренность о том, что считать реальностью. Так что разоблачение устойчивых условностей — дело неблагоприятное и неблагоприятное.

Представьте себе, что упорный поборник правды, попавший ненароком на бал-маскарад, в нарушение общепринятых правил благопристойности срывает с таинственной незнакомки, будоражащей общее воображение, карнавальную наряд... и узнает в ней голую истину. Неприглядную. Нежеланную. Неуместную. Глаза бы на нее не глядели! А ведь теперь ему волею неволей придется жить с ней, преодолевая отвращение... Такова судьба тех, в ком стремление к правде преодолевает резоны разумной осторожности.

Если в понятие, приведенное выше, вместо *via* (путь) поставить *vita* (жизнь), мы получим новое выражение, являющееся логическим следствием прежнего: *vita negationis* — существование через отрицание. Иначе говоря — *жизнь как отрицание*

*жизни*. Разум, стремящийся к самопознанию, словно мифический змей уроборос, который пожирает самого себя, подвергает сомнению все, что в нем заложено. Мышление становится страданием. *Первым признаком начинающегося познания является желание умереть. Эта жизнь кажется невыносимой, какая-то другая — недостижимой!*<sup>1</sup>

Несчастное сознание определяет безнадежное бытие. Теряя уверенность в сущем, критический разум обретает свободу как освобождение от обязательных иллюзий. Однако свободомыслие — вольное странствие мятежного духа, чреватое заблуждением. Очарованный странник в своем отстранении от общепринятого может так далеко зайти за горизонт событий, что уже не сможет вернуться назад — в темное и теплое нутро самородной и самодостаточной жизни.

Что такое жизнь человека, не нашедшего в ней своего смысла? — мучительное переживание того, чего у него нет. Поэтому многие из благоразумных и добропорядочных людей стараются не думать ни о чем, кроме как о непосредственных заботах и настоящих потребностях. У некоторых это получается настолько хорошо, что они становятся оптимистами: мир устраивает их таким, каков он есть. Другие поступают наоборот: разбирают в умозрительном анализе мир на отдельные составляющие, пытаются найти в причинно-следственном механизме изъяны, подлежащие устранению. Однако общий итог разборок с миром трагичен: обнаружить изъяны нетрудно, а вот наладить дело жизни в лучшем виде нелегко или невозможно.

Радикальные аналитики переоценивают возможности критического разума: заново собрать мир в своем сознании в единое целое они уже не могут. В расстроенном мировоззрении мироздание распадается на множество противоречий, и виртуальный абсурд настырно внедряется в голову, в которой пытливого ума оказалось больше, чем здравого рассудка. *Когда думаешь о собственном существовании, испытываешь ощущение изумленного идиота, который с удивлением замечает собственное безумие и тщетно пытается подыскать для него имя*<sup>2</sup>. Таким странным риторическим оборотом философ Эмиль Мишель Чоран выразил кризисную фазу самопознания.

<sup>1</sup> Франц Кафка. «Рабочие тетради».

<sup>2</sup> Эмиль Мишель Чоран. «О разложении основ».

О том же, едва ли не теми же риторическими образами, говорит философ Петер Слотердайк. *Благодаря своим исследованиям человек превратился в космического идиота; он сам себя обрек на изгнание и сам себя лишил извечной защищенности внутри сотворенных им же самым пузырькой иллюзии, погрузившись в бессмысленное, чуждое, никак от него не зависящее*<sup>1</sup>.

Отчуждение сознания от бытия началось, конечно, но, пожалуй раньше нынешнего эпистемологического кризиса — в незапамятные времена. Наверное, первым изложением логического негативизма в истории культуры стала Книга Екклесиаста; вывод из мудрости древнего иудейского проповедника вмещается без остатка в осуждение мудрости — *потому что во многой мудрости много печали; и кто умножает познания, умножает скорбь... И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем; ибо все — суета и томление духа!* Античные философы для диагноза этого патологического состояния нашли точную формулировку: *taedium vitae* — отвращение к жизни.

От *taedium vitae* прямой путь к *vita negationis*; жизнь космического идиота, утратившего землю под ногами, — горе от ума: самоотрицающая жизнь, тратящая время существования на то, чтобы избыть себя. В нашей литературной традиции образцом патологического скептицизма стал пушкинский «демон»:

Не верил он любви, свободе;  
На жизнь насмешливо глядел —  
И ничего во всей природе  
Благословить он не хотел<sup>2</sup>.

Как известно, прототипом этого образа был Александр Раевский, коварный друг молодого поэта. Светский умник с надменным видом и с насмешливым взглядом, Раевский держался артистично и выражался парадоксально. Пушкин прочил ему необыкновенную будущность. Но вышло иначе. Язвительный ум Раевского не нашел общего языка с духом эпохи; романтический флер вокруг него скоро развеялся, и его старомодный демонизм всем попросту осточертел. Последние годы жизни печальный демон скоротал в добровольном изгнании и в болезненном незнании, зачем он жил.

Впрочем, для идейного демонизма в словарях есть другое понятие, более содержательное — идеологический нигилизм. *Нигилизм* (от лат. nihil — ничто, ни-

чего) — мировоззренческая установка, ставящая под сомнение конвенциональные ценности и консолидированные идеалы. В русской общественной мысли это понятие стало популярным после появления романа Ивана Тургенева «Отцы и дети»; скандальным явлением главного героя, человека с вздорным умом и скверным характером, нигилизм вошел в сознание современников.

Нигилист, если отойти от хрестоматийного образа Евгения Базарова, — это человек, одурманенный трезвостью. Нигилизм в этом плане составляет антитезу энтузиазму. В античности понятием *энтузиазм* обозначали состояние человека, одержимого божеством. В христианском мире истинными энтузиастами были юродивые Христа ради. С течением времени понятие потеряло сакральное значение: в наши дни энтузиазмом называют активность в достижении неких идеальных целей. Характерная особенность деятельности такого рода, чаще всего бестолковой, — неконкретность. В неформальном определении энтузиазма подразумеваются иронические кавычки; задорные оптимисты в здоровом коллективе находятся под подозрением — или в кретинизме, или в карьере.

В то время как записные пессимисты — свои люди; мы с ними одной крови — холодной и темной. Психологический нигилизм релевантен социальному цинизму; как говорится, не мы такие — жизнь такая. Примесь нигилизма в духе эпохи — катализатор реакции жизненного синтеза, без которого социальный тезис и житейский антитезис будут существовать в сознании в состоянии напряженной конфронтации, провоцируя шизофреническое расстройство скорбно-го разума. А так вроде как все в норме. — *Как жизнь?* — *Ничего*. Ничего... то есть — nihil.

Среди серьезных мыслителей, реально влияющих на формирование общественного настроения, оптимистов найдется немного. Наиболее авторитетными фигурами речи в каждом обществе оказывались не его защитники, а его критики: социальные мыслители, которые в перспективе истории не видели ничего хорошего и в природе человека не находили ничего, внушающего надежду относительно судьбы человечества. К несчастью нашему, большей частью они оказывались правы.

История последних столетий, именуемая в учебниках Новой и Новейшей, если чем и отличалась от Древней и Средневековой, то разве что методами убеждений и масштабами безобразий. А внутреннее течение времени, если говорить о человеческом изменении, от Ромула до наших дней определялось историческим противоборством энтузиазма с нигилизмом. Причем эту полемику нельзя упростить, представив

<sup>1</sup> Петер Слотердайк. «Сферы», т. 1.

<sup>2</sup> Александр Пушкин. «Демон».

как борьбу добра со злом: целенаправленное давление энтузиазма порождает идеологический беспредел, а разлагающее влияние нигилизма оборачивается либеральным произволом. Как с горечью заключил поэт, переживший на своем недолгом веку многое, — *Куда ни странствуй, / всюду жестокость и тупость воскликнут: «Здравствуй, / вот и мы»*<sup>1</sup>.

Современная культура, доминированная опытом радикальной критики, пронизана нигилизмом как деликатесный сыр плесенью. Основным методом познания становится не утверждение, а отчуждение. Учение о человеке перестало быть гуманизмом: человек как цель потерян в процессе его изучения. Особенно ощутима эта потеря в литературном творчестве. Стоит вспомнить только наиболее авторитетных авторов минувшего века — Кафку, Музиля, Брока, Юнгера, Сартра, Селина, Ионеско, Беккета, Батая, Канетти, Фолкнера, Мориака, Малапарте, Моравиа, Дюрренматта, Фриша, Грина, Голдинга, Берроуза, Грасса, Кутзее et cetera. Имя им — легион. Можно подумать, что в классики мировой литературы минувшего века назначались преимущественно пессимисты и мизантропы.

О советской литературе разговор отдельный; социалистический реализм, рожденный казенным энтузиазмом, был оптимизмом по определению. Человек человеку друг, товарищ и брат, — а кто думает иначе, тот потенциальный враг, подлежащий уничтожению. Мало кто из профессиональных литераторов в этих условиях рисковал иметь особое мнение относительно собственной жизни и жизни вообще. Все писатели и мыслители, имеющие лицензию на умственную деятельность, не видели иного пути для человечества, кроме верной дороги к счастью, открытой миру в учении исторического материализма. Нигилизм по-советски — отрицание отрицания; диалектика, однако...

Нарастание идейного кризиса советской цивилизации с особой ясностью отражается в перемене творческих установок культовых писателей братьев Стругацких. В развитии их мировоззрения можно выделить три этапа: утопический позитивизм — философский скептицизм — пессимистический иррационализм. Поздние книги АБС — художественное изложение нравственных основ эсхатологического фатализма.

Как самые радикальные атеисты выходят из семинаристов, утративших веру, так самые отъявленные нигилисты выходят из идеалистов, потерявших надежду. Ненависть нигилистов к несовершенному миру — месть идеалу за экзистенциальную несостоя-

тельность. Мизантропы не рассчитывают на понимание современников. И не надеются на признание потомков. Как сказал один из отказников и отщепенцев, всемирно знаменитый писатель и мыслитель Морис Бланшо, большую часть жизни проживший в самоизоляции в маленьком городке в горах, в *самой блистательной посмертной славе я вижу только претенциозную преисподнюю, в которой критики — все мы — играют роль опечаленных чертей*<sup>2</sup>.

В темном сонме опечаленных чертей, поверженных титанов мятежного духа, особым отрицательным обаянием выделяются мрачные физиономии двух непримиримых критиков божьего мира — Витольда Гомбровича и Эмиля Мишеля Чорана. О них речь в двух последующих текстах.

## 2. ЧЕЛОВЕК В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

**П**осле всего того, что всемирно знаменитый писатель Витольд Гомбрович ничтоже сумняшеся написал сам о себе, судить о том, каков он был на самом деле, следует с предельной осторожностью; разделить в его лукавой откровенности былое и думы столь же проблематично, как в стакане водки отделить воду от спирта. Ибо излюбленный жанр эксгибициониста Гомбровича — эгоцентрический театр абсурда: гибрид маскарада и стриптиза. Предметом художественного изображения он сделал собственный умозрительный образ, отраженный в кривых зеркалах болезненного самоанализа. Таким образом, в историю мировой литературы под именем Гомбровича внедрил человек, похожий на Гомбровича, — откровенный провокатор, ставший скрытым автором его текстов. Творчество Гомбровича настолько противоречиво, что окончательный вердикт о нем неминуемо переходит в конфликт интерпретаций. Когда один литературовед на очередной международной конференции оспаривает мнение другого литературоведа относительно какого-либо сомнительного места в литературном наследстве классика, другим знатокам Гомбровича кажется уместным вспомнить известный пассаж из его дневника: *«Ну, чего вы ждете? Дайте друг другу по морде!»*

Польский писатель Витольд Гомбрович родился 4 августа 1904 года в Российской империи, в той части, что была в то время Царством Польским, а умер 24 июля 1969 года во Франции. Будучи отпрыском состоятельной семьи и хорошего рода, юный Витек получил надлежащее воспитание и приличное образование, однако буржуазную карьеру устраивать не захотел ни под каким видом. Войдя в возраст, Гомбро (как

<sup>1</sup> Иосиф Бродский. «К Евгению».

<sup>2</sup> Морис Бланшо. «Опыт-предел».

его звали в своем кругу) вошел в варшавскую художественную среду, слavnую вольными нравами. Прези-рая мещанские претензии на респектабельность, он, как это свойственно соискателям скандальной славы, провоцировал общественное мнение сумасбродными выходками и сумасшедшими вымыслами, сначала в литературных кафе, потом в литературных альманахах. Его безумство имеет свою систему; нигилистиче-ская позиция художественной богемы предвоенных лет — попытка противодействия наваждению идео-логии. (Поздняя проговорка в дневниковой записи: *совсем не случайно, что в тот момент, когда позарез требуется герой, ни с того ни с сего появляется шут.*)

К концу 30-х лет, после издания пьесы «Ивонна, принцесса Бургундская» (первая слепая ласточка дра-матургии абсурда) и выхода романа «Фердидурке» (по авторскому определению — книга-обман, книга-обольщение), Витольд Гомбрович занял свое место в авангарде польского искусства предвоенного времени. Однако далее он надолго выпадает из контекста. В на-чале Второй мировой, когда нацисты оккупировали Польшу, Гомбрович ненароком оказался в Аргентине — и задержался там на четверть века. Все эти годы литератор-эмигрант ведет двойное существование: в повседневном плане зарабатывает на жизнь кон-торской работой, а на творческом уровне постепенно обретает мировое признание. Отказавшись возвра-щаться в социалистическое отечество, Гомбрович не вписывается и в эмигрантское сообщество, позицио-нируя одиночество как избранничество. Свою отдель-ность он постулирует в «Дневнике»: *я созидался почти в полной изоляции, и думаю, что немногие из литерато-ров имели опыт подобного безлюдья*. На чужбине ино-земец, на родине отщепенец, Гомбрович утверждает в своем экзистенциальном опыте право личности на са-моопределение. В послевоенные годы Гомбрович из-дает три романа — «Транс-Атлантик» (1953), «Порно-графия» (1960) и «Космос» (1965), а также выпускает две пьесы — «Венчание» (1948) и «Оперетка» (1966). Романы переведены на все европейские языки; пьесы вошли в репертуар мирового театра.

Большинство его произведений откровенно трети-руют нормативные установки либерального сообще-ства и безжалостно высмеивают стереотипы массово-го сознания; его гротескные парадоксы, отравленные сарказмом, с небрежной точностью попадают в нерв-ные узлы моральных проблем современности, — и потому трагифарсы Гомбровича становятся излюб-ленным чтением европейских интеллектуалов наряду с трактатами Сартра, кошмарами Берроуза и мараз-мами Беккета.

В конце жизни, обретя наконец финансовую неза-висимость, Гомбрович вернулся на родной континент:

в Европу, но не в Польшу. Последние годы жизни провел на юге Франции — в непривычном благополу-чии. Судьба Гомбровича как культового автора реши-лась не вдруг и не сразу, зато уж когда критика прочла Гомбровича в контексте времени, его авторитет стал непререкаемым. Однако как ни старалась *слава* (так Гомбрович обозвал моду на него) обольстить ста-рого маргинала, академическая среда не сумела со-блазнить его выгодами почетного положения. Желчь Гомбровича не теряла присущей ей горечи. Чтобы укротить строптивного литератора, его номинировали на Нобелевскую премию, — о договориться на его счет шведские академики не успели: пан Витольд со свой-ственным ему гонором не стал дожидаться решения жюри — взял и всем назло умер.

В мировой культуре Витольд Гомбрович канони-зирован в чине классика как романист и как драматург, но, пожалуй, главным трудом его жизни стал днев-ник, в котором автор весьма нелицеприятно выска-зывается обо всем, что входит в сферу его внимания. *Настольная книга европейского интеллигента* — как сказано в издательской аннотации к русскому пе-реводу (СПб., 2012). Автор, человек с обостренным самолюбием, охотно согласился бы с такой высокой оценкой своего труда. Недаром же он написал в на-чале «Дневника» об особой роли высокого искусства: *оно либо останется навсегда тем, чем было испокон веку, то есть голосом личности, выразителем человека в единственном числе, либо исчезнет*. Сильное выска-зывание. Однако если не согласиться с ним сразу, сто-ит усомниться в его значении.

Мнение, высказанное Гомбровичем, не аксиома искусства, а скорее, апория: претензия эгоцентрика на общественное признание содержит в своей осно-ве логическое противоречие. С философской точки зрения эгоцентризм не что иное, как экзистенциаль-ная позиция субъективного идеализма, доходящего в пределе до нигилизма. Как говорит Гомбрович, *что нас сегодня обезкураживает, так это не та или иная проблематика, а растворение проблематики в люд-ской массе, ее уничтожение под воздействием людей*. Это значит, что реальной проблемой автор этого вы-сказывания полагает только то, что занимает его кри-тический разум. Радикальный экзистенциалист, кри-терием реальности Гомбрович полагает собственное существование. Первые четыре записи в его «Днев-нике» радикально кратки: каждая строка состоит из одного слова — личного местоимения. *Понедельник Я. Вторник Я. Среда Я. Четверг Я. Я* — отправная точка всего остального. Мышление, ограниченное личностью мыслящего, не может выйти из замкнуто-го эгоцентрического круга: я мыслю, следовательно, существую, — а поскольку мышление других не со-

впадает с моим, существование других для меня несущественно.

И здесь мысль Гомбровича попадает в логический капкан. Нигилизм как метод освобождения разума от предубеждений — лекарство, которое хуже болезни. Что толку в свободе как таковой, если она — не освобождение, а отчуждение? Смысл человека в единственном числе может быть актуализирован только в общении с другими людьми. Иначе все, что есть в человеке, — ничто. *Человек один не может ни черта*, исходя из собственного негативного опыта, утверждает герой Хемингуэя — отщепенец, потерпевший поражение в правах человека. Герой Гомбровича, таковой же отщепенец, не слышит его. И не видит смысла в этой прописной истине. И ни в чем другом смысла не видит...

Не знаю, как орловский читатель, но орловский зритель в некоторой степени знаком с творчеством Гомбровича: спектакль по пьесе «Ивонна, принцесса Бургундская» в 2017 году в театре «Свободное пространство» поставил польский режиссер Гжегож Мрувчиньски. Трагическая история безмолвной и безропотной героини интерпретирована театром в рамках европейской традиции черного юмора. Премьера прошла с большим успехом; постановка получилась неоднозначной, но неординарной. Однако в основную афишу спектакль не вошел: драма абсурда в нашей театральной практике остается несчастным и непривычным зрелищем. Зритель спектакля, очевидец поставленного на сцене жестокого эксперимента, переживает эстетический катарсис — и одновременно испытывает этический стресс: он чувствует себя уличенным в молчаливом сотрудничестве с подлостью, ставшей банальностью.

Художественный метод современного театра суть предельная концентрация гротескного эмпириокритицизма, берущего начало в шекспировской драматургии. (*Жизнь — это только тень, комедиант, паясничавший полчаса на сцене, и тут же позабытый, — это сказка, которую пересказал дурак, в ней много слов и страсти, нет лишь смысла.*) Муза Гомбровича, нашептывая ему безнравственные сказки безрассудного мира, пустоты от пропавшего смысла заполняет то страхом, то смехом. Понимание нелепости происходящего разворачивается в постижение странности сущего.

Вот наглядный пример остранения реальности, представленный в «Дневнике».

*Я прогуливался по аллее, когда из-за дерева на меня вышла корова. Я остановился, и мы смотрели друг друга в глаза. Ее коровность чрезвычайно удивила мою людскость, и тот момент, когда наши взгляды встре-*

*тились, оказался так неловок, что я смутился как человек, то есть в моем человеческом качестве. Странное чувство, впервые мною познанное, — человеческий стыд перед животным. Я позволил ей смотреть на меня и увидеть меня — это нас сравняло, — вследствие чего я стал в ее глазах животным, но каким-то странным, я бы даже сказал, ненормальным. Я продолжил прерванную прогулку, но мне стало не по себе... в природе, которая со всех сторон окружала меня и которая как будто... рассматривала меня.*

Оказавшись во власти отчуждающего взгляда, нигилист внезапно осознает в себе поглощающую пустоту нигилизма — осознает как зияние, в котором исчезает его самость.

Трагикомическое отчуждение человеческого существования от первозданного бытия Гомбрович положил в основание своей поэтики, которую литературная критика расположила в общем месте философии экзистенциализма. Гомбровичу это не слишком нравилось, но доказывать отдельность своей литературной судьбы и особость своего творческого метода он полагал ниже своего достоинства. *Я должен рассказать вам о моей жизни в связи с моим произведением? Я не знаю ни моей жизни, ни моего произведения. Я влачу за собой свое прошлое как туманный хвост кометы, а что касается произведения, то я тоже не слишком много знаю, очень даже мало.*

Однако того, что он знает, достаточно для того, чтобы смутить наше воображение.

Проза Гомбровича — апология стыда, доходящая до бесстыдства. Его герой — бунтарь против общественной формы, навязанной человеческому содержанию. Подобно нахальному мальчишке из сказки Андерсена, обличающего голого короля, облаченного в иллюзорные одеяния, наглый нигилист Гомбрович разоблачает господствующий дискурс, срывая с него покровы фарисейства. Что в некоторой мере является ментальным насилием над действительностью — безыдейным бунтом, бессмысленным и беспощадным. Безропотная корова, аллегорический реликт пасторальной эпохи, смотрит в упор на праздного человека... и разумному существу, уличенному в бессмысленном существовании, хочется превратить ее в говядину.

Американский славист Дэвид Бродски, исследователь творчества Гомбровича, полагает, что в становлении его творческой личности решающим фактором было влияние Достоевского. Но, в отличие от русского гения, сострадающего каждому живому существу, Гомбрович немилосерден к людям. *Человек по Гомбровичу — синтез воли и боли: абсолютно одинокая монада, стремящаяся властвовать над другими, чтобы за счет умаления бытия других восполнить мучительную пустоту в себе.* Что заведомо невозможно.

Источив жизненные силы на то, чтобы быть собой за счет других, человек в единственном числе, осточертевший самому себе, ищет выход в люди...

Размышляя о логической перспективе эгоцентрического критицизма, я чувствую, как в точке невозврата моя мысль от философской критики обращается к критической рефлексии: в *нигилистической ловушке* (как назвал Чеслав Милош апорию Гомбровича) я обнаруживаю опасный соблазн для мятежного духа. И все же — спасибо Гомбровичу; вытяжка нигилизма, концентрированная в искусстве, — эстетическая вакцина от экзистенциальной бессмыслицы.

О, Ивонна, принцесса Бургундская, священная королева нашей садомазохистской цивилизации, предназначенная в жертву абсурду, — помяни меня в своих молитвах! Ибо в твоей коровности больше человечности, чем в нашей людскости.

### 3. БДЕНИЕ ВО ТЬМЕ

**Л**итераторы считали его философом, философы — литератором, а сам он отказывался играть какую-либо роль в человеческой комедии, именуемой общественной жизнью. *Нет у меня никакого духовного призвания. Я создан, чтобы мучиться на этой земле — и все.* Переживая сознательное существование как осознанное страдание, писатель и мыслитель Эмиль Мишель Чоран пограничное состояние скорбного разума определил не содержательно, а образно: *подлинное знание сводится к бдению во тьме.* Чтобы понять, что он имеет в виду, надо, наверное, насколько хватит своего ума, следовать ходу его мысли — бесстрашной мысли, берущей начало в отказе от догматизма, идущей от критичности к катастрофичности, доходящей до края мыслимого и, остановившись на краю бездны, пребывающей в напряженной безысходности... Не знаю, у многих ли соискателей истины хватит мужества поставить на себе этот мысленный опыт.

Эмиль Мишель Чоран родился 8 апреля 1911 года в Трансильвании — в той части, что до Первой мировой войны входила в состав Австро-Венгрии, а после распада империи стала частью Румынии. Семья была одновременно просвещенной и патриархальной; идеализируя свое детство, всю последующую жизнь Чоран видит в ретроспективе как утрату. Откуда такой пессимизм? Сад родительского дома примыкал к кладбищу; такое соседство, видимо, не прошло даром: тема смерти так глубоко прописана в его творческой истории, что кажется, в его личности танатос доминирует над эросом.

Отношение блудного сына к родным пенатам сложилось как неразрешимое противоречие фрустрации

и ностальгии. *Я родился в стране, где главным занятием каждого было сожаление. От будущего мои предки, уверен, ничего не ждали. И не мне их за это осуждать. Печальные, недоверчивые, обездоленные люди...*

Чоран не хотел покориться румынскому року и с корнем вырвал свою бунтарскую натуру из родной почвы; он стал жить своим умом... но, по иронии судьбы, стал таким же печальным, недоверчивым, обездоленным человеком, какими были его предки. *Я унаследовал от своей страны природный нигилизм — ее главное свойство, единственную ее особенность... это у нас в крови, у меня в крови. <...> Черное начало, рас творенное в крови, сросшееся с мыслью.*

В другом месте о том же он выразит то же ощущение почти готической метафорой: *«У меня в жилах не кровь, а мрак».*

С самого начала сознательной жизни все в его жизни пошло вкривь и вкось, нimalo не соответствуя традициям семьи и среды. Сын православного священника, он учился в немецкой школе. Свое дальнейшее безбожие он позже определил как *нигилизм поповича*. Из всей Библии, кроме эсхатологического кошмара Апокалипсиса, для него сохраняет интерес только тотальный скептицизм Екклесиаста. И — Книга Иова, хроника поражения праведника в правах человека. *Я — ученик Иова, но плохой ученик; я унаследовал от него не молитвы, а вопли.* Переболев юношеской болезнью правизны, пережив увлечение национализмом, Чоран приобрел иммунитет от идеологии. *Ищите происхождение церквей и идеологий не столько в глупости масс, сколько в страхе интеллигента перед собственным трезвомыслием.* Впрочем, к повседневным явлениям здравого смысла он тоже относился с подозрением: *трезвость — это экстаз с обратным знаком.* Так что его нигилизм, негативно оценивающий все идеологии, не делал исключения для нигилизма.

Базовое образование Чоран получил в Бухарестском университете, где окончил факультет филологии и философии. В годы учебы он сблизился и сдружился с двумя неординарными современниками; их имена — Мирча Элиаде и Эжен Ионеско. Три сумасбродных румына со временем стали знаковыми персонажами истории культуры XX века: Элиаде — жрецом сакральных традиций, Ионеско — корифеем театра абсурда, а Чоран — пророком конца истории.

Первые книги Чорана, сборники философской эссеистики, имели характерные заглавия: *«На вершинах отчаяния»* (1934) и *«Сумерки мысли»* (1938). Напряженные размышления Чорана не нашли понимания в отечестве, находящемся под властью темных сил. *«Geniu pustiui» — вот суть моей родной страны,* сказал он позже о национальном духе своей родины.

*Genii rustii* в переводе с румынского означает *гений пустыни*; другой перевод — *бесплодный гений*. Голос Чорана — глас вопиющего в пустыне; его монолог не входит ни в один из авторитетных дискурсов, борющихся за власть над общественным сознанием.

В годы, предшествующие Второй мировой войне, Чоран с нарастающим разочарованием изучает философию как науку — сначала в Германии, потом во Франции. Годы немецкой оккупации проводит в Париже; коллаборационистом, несмотря на прежний интерес к фашизму, не стал, но и в Соппротивлении не участвовал — был сам по себе. После войны Чоран решает не возвращаться в отечество, где после правой диктатуры установилась левая. Незачем. Не к кому. *Из тех, кого я знал, одни умерли, другие поступили еще хуже.* Перенаселенной пустыней, в которой философ свое одиночество обустроил как отшельничество, стала интернациональная интеллектуальная среда, средоточием которой была французская столица.

Маргинал и нелюдим, *сибарит скорби*, свое повседневное существование Чоран свел к прожиточному минимуму. Его участь — аскетическое житье в тесной и темной мансарде, бессонница и бескормица. От такой жизни усугубляются хронические болезни: невращения, невралгия et cetera. Но сильнее неизлечимых немощей Чорана мучают неисцелимые мысли. Книги афоризмов и эссе Чорана, написанные после войны, полны разочарованием в европейской цивилизации, мрачным скепсисом, неверием в прогресс, острым анализом исторических иллюзий и модных заблуждений, безжалостностью к себе и к человеку в целом. Его библиография — хроника нарастающего ожесточения: «О разложении основ» (1949); «Горькие силлогизмы» (1952); «Соблазн существования» (1956); «История и утопия» (1960); «Злой Демиург» (1969). *Моя миссия состоит в том, чтобы пробуждать людей от их векового сна, пробуждать, однако, с сознанием, что я совершаю преступление и что гораздо лучше было бы оставить их такими, какие они есть, поскольку, когда они пробуждаются, мне нечего им предложить.*

Первый всплеск широкого интереса к Чорану приходится на 1965 год, когда его «Уроки распада» издают в карманном формате массовым тиражом. После молодежных бунтов 1968 года, потрясших Европу, желчные инвективы маргинала от философии становятся каноническими текстами контркультуры. Чоран обретает репутацию современного Екклесиаста — пламенного проповедника нигилистической эпохи. Современники оценили горькие силлогизмы мрачного румына как ментальное лекарство от отравления сладкой жизнью, соблазнившей Европу невыносимой легкостью бытия. Слава, однако, ему не в радость (*желать славы — значит предпочитать*

*позор забвению*). Чоран не ищет известности и не любит публичности; он не участвует в общественной жизни и отказывается от премий, которые ему присуждают. После 1987 года, когда его книга «Признания и проклятия» стала бестселлером, Чоран, назвавший свою популярность *унизительным успехом*, больше не пишет книг. То, что он пишет, больше всего походит на протокол внутренней катастрофы. Мысль Чорана, словно потерявшая нюх ищайка, обшаривает темные закоулки его сознания в поисках утраченного смысла.

Творческая манера Чорана — поразительное соединение лаконичности с незаконченностью, точности с неясностью, решимости с неуверенностью. Его тексты, в основном состоящие из фрагментов, оставляют впечатление черновиков ненаписанного шедевра. Каждому тезису находится антитезис, но мыслящий удерживает говорящего от попыток синтезировать в речи общий смысл. Стиль? — да. Мораль? — нет.

Мятежный раб слова, классическую европейскую литературу Чоран читал избирательно, а русскую читал почти без исключений. Ненавистник советского государства, он тянулся к российской культуре как к животворному источнику. Нашу классику знал досконально, хотя перечитывал ее в сумрачном свете своих разочарований. *О, как же я хорошо понимаю русское безволие, как хорошо понимаю Обломова, каторгу и русскую церковь!* (Характерно, что церковная жизнь им поставлена в один ряд с лагерной.) Однако по психотипу Чоран ближе не к Обломову, а к Печорину (даже в их именах слышится что-то общее — нечто черное... не то чтобы порочное, но непрочное, порченное). *Бывает, я чувствую в себе беспредельную силу. Но, увы, не знаю, к чему ее приложить.* Нарочно или нет, Чоран в этом высказывании повторяет внутреннюю позу «героя нашего времени». А в других *признаниях и проклятиях* он обнаруживает в себе «подпольного человека». *Самое близкое для меня — русский байронизм, от Печорина до Ставрогина.* В это можно поверить: мрачный романтизм — эмоциональная основа рационального нигилизма.

В «Попытках забытья» Чоран записывает парадоксальное суждение о структуре реальности. *Никакого иного мира нет. Нет даже этого. Что же тогда есть? Тайная улыбка, вызванная в нас очевидным отсутствием того и другого.* В «Горьких силлогизмах» он уточняет свое впечатление о житейском опыте в духе экзистенциальной философии. *Старая, человек учится обменивать свои страхи на свои ухмылки.* Однако сам он ни улыбаться, ни ухмыляться, кажется, не умел; на большинстве фотографий у Чорана губы стиснуты так жестко, словно он боится проговориться

о чем-то страшном, до чего додумался только что, а другим этого лучше не знать.

С годами круг других неуклонно сужается; Чоран скорбит об ушедших друзьях, но сгущение пустоты вокруг себя принимает как должное. В дневниковой записи от 17 ноября 1965 короткая фраза на латыни: *Via negationis...* Путь отрицания, путь отречения; дорога никуда. *Как узнать, что ты на верном пути? Проще простого: если рядом с тобой не осталось никого, значит, ты действительно близок к сути.*

Истощенный мучительным противоборством с самим собой, измученный душевными и телесными немощами, Чоран умер 20 июня 1995 года от последствий неизлечимого дегенеративного заболевания. По настоянию его именитых читателей, парижская мэрия выделила место для погребения на кладбище Монпарнас. Хотя самому философу, конечно, было все равно, где упокоятся его бранные останки. *По-настоящему мое место в мире, моя потерянная родина — то небытие, которое, как полагали мистики, прежде Бога.*

Если начало сознательной жизни выдающегося европейского мыслителя Эмиля Мишеля Чорана проходило под влиянием философии Шопенгауэра, конец ее, увы, прошел под влиянием болезни Альцгеймера; согласно диагнозу, свет разума слабеет и меркнет. Когда Чоран назвал истинное знание *бдением во тьме*; вряд ли он предполагал, что сознание, очищенное от всего лишнего, может оказаться пустым. Знание, утратившее надежду, потеряло смысл. Хотя, наверное, что-то в этом роде Чоран предчувствовал. *Бывают минуты, когда ясно чувствуешь, что мозг захватывает пустота и там, где были мысли, раскинулась мертвая степь.* Так оно и случилось. Дневники последних лет — записки путника, заблудившегося в мертвой степи, — до сих пор не опубликованы. Можно догадываться, почему. Бесплодная земля, пустое пепелище темного огня — вот картина мира, в которой нигилизм стал господствующей идеологией.

В записных книжках Чорана среди изощренных измышлений иногда проскальзывают непосредственные высказывания. Такова запись от 7 января 1969 года. *Слушать дождь — само по себе занятие. Не понимаю, зачем думать о чем-то еще.* В этом меланхолическом ощущении мыслитель как будто предвосхищает печальный конец всех своих размышлений. На пепелище прежней жизни, где бедный наследник Иова, потерявший скорбный разум в глубине своей печали, уже не может и не хочет думать ни о чем... На запрокинутую к небу голову падает ласковый дождь, смывая с лица соль слез. А в глубине земли, напоенной животворящей влагой, корни травы пробуждают-

ся от летаргии. Вопреки всем мрачным пророчествам, жизнь продолжается, заполняя существованием опустевшее место.

Читать Чорана — мучительное занятие. И все же вдумчивое прочтение его горьких силлогизмов дает что-то важное уму и нужное душе: мужество знать, что знание еще не спасение. Все, что есть в разуме, еще не все, что есть в человеке. Метафизические истины нельзя доказать — и невозможно опровергнуть. *Бог есть — даже если его нет.* Эту апорию Чорана можно поставить эпитафией к его книге «После конца истории». А может быть, ко всей его безрадостной и бесстрашной жизни, в которой он, если вспомнить завет любимого им русского поэта, не умел отличать поражения от победы.

#### 4. ПЕПЕЛ И ДЫМ

**В**еликий русский (ни разу не советский) писатель Венедикт Ерофеев родился 24 октября 1938 года на рабочей окраине северного городка Кандалакши, в семье железнодорожника. Когда (уже после войны) отца по доносу посадили за «вредительство», мать в поисках заработка была вынуждена уехать к родственникам в Москву, рассказав семью по чужим углам; так Веночка (как звали его в семье) попал в детский дом города Кировска, ставшего ему приемной родиной. Там он окончил школу — с золотой медалью. По итогам собеседования абитуриент, поразивший приемную комиссию одаренностью и эрудицией, был принят в МГУ на филологический факультет.

А дальше вместо перспективной карьеры перманентная катастрофа. В семью, и без того не слишком благополучную, пришли две новые беды: отцу, потерявшему в лагере здоровье, вынесли смертельный диагноз, а брата, оступившегося по пьяному делу, приговорили к тюремному сроку. Кроме того, в его жизни случилось *еще нечто в высшей степени неприятное*; что именно — Ерофеев умалчивает. Вероятно, третьим горем был позорный роман с местной шалавой, бывшей подружкой детства: вернувшийся на родину Гамлет хочет спасти спившуюся Офелию, валяющуюся в сточной канаве, и сам увязает в житейской грязи... Как бы то ни было, с 1956 года его образ жизни (*modus vivendi* — на любимой им латыни) радикально меняется.

Момент перелома (с его слов) передает Ольга Седакова: однажды, шагая по Москве, Ерофеев увидел в витрине бакалейного магазина заурядный для тех лет натюрморт в брутальном стиле — рекламу алкоголя и никотина; зашел в магазин, купил четвертинку водки и пачку «Беломора», — в ближайшей подворотне



выпил, потом закурил... и впредь предался этим вредным занятиям на всю оставшуюся жизнь — вплоть до ускоренной ими смерти. Встав на этот окольный путь к сермяжной правде, учиться разумному, доброму, вечному по университетским программам перестал, и с факультета его отчислили. После Венедикт еще трижды зачислялся в студенты педагогических институтов в Орехово-Зуеве, Владимире и Коломне, но долго нигде не задерживался.

Волей-неволей вступив в ряды рабочего класса, Венедикт Ерофеев зарабатывал на жизнь неквалифицированным трудом. Ютился по пятым углам, перебивался с хлеба на водку. Жить так, как он, без прописки и без паспорта, без вещей и сбережений, в советской стране было практически невозможно. А он таки жил, следуя течению своей несурзной жизни. Противостоя своей особой общественному идеалу, Венедикт Ерофеев, как и его автобиографический герой Веничка Ерофеев, был убежден, что в мире *все должно идти медленно и неправильно, чтобы не загордился человек*. Своего рода — кредо экзистенциального юродства: уничтожение паче гордости.

Годы оттепели и годы застоя Венедикт Ерофеев провел в статусе беспутного гения и бездомного маргинала: помногу пил и помалу писал. Первой книгой в его библиографии следует считать «Записки психопата» (1957), долгое время считавшиеся утерянными; рукопись была обнаружена и опубликована только в начале нашего века. В самом начале стилизованного под дневник провокативного текста в двух словах изложена фабула: *алкоголь — спасение!* Обрамляет это краткое исповедание веры матерное ругательство, похожее по звучанию на латинское слово *nihil* и сходное по значению. В последних строчках герой подводит негативный итог жестокого опыта, поставленного на себе. *Нет ничего... А ведь было, наверное... Что-то было...* И по старой литературной манере ниже начертано: *конец*. Хотя до настоящего конца, до полной гибели всерьез, оставалось еще много времени — тридцать три года вдохновенного пьянства и запойного творчества.

Самой главной книгой в творчестве Венедикта Ерофеева (а может быть, во всей русской литературе последней трети минувшего века) стала поэма «Москва — Петушки». Вообще-то это проза, притом высшей пробы. Однако, вслед Гоголю, Ерофеев назвал свой труд, парадигматический текст русского постмодернизма, поэмой. Если подходить к тексту формально, это художественное произведение в переходном жанре — от феерии к фантазмагории (*мениппея*, по Бахтину). В основе сюжета дотошный исследователь может обнаружить искусное соединение классических и традиционных жанров русской литературы:

сентиментальное путешествие постепенно переходит в хождение по мукам.

В русском опыте самопознания есть особое понятие для приобщения к божественной истине: *родиться в духе*. Однако тот, кто не щадя себя доискивается до божьей правды, чувствует себя чужеродным телом в лоне грешного мира. В начале трагедии «Вальпургиева ночь» (1985) ее герой, альтер эго автора, пытается выразить свое метафизическое отчуждение через метафорическое сравнение: *ощущаешь себя внутри благодати — и все-таки совсем не там; ну... как во чреве мачехи*. Семантический оксюморон — *во чреве мачехи* — как нельзя лучше выражает шизофреническое состояние скорбного разума, потерявшего смысл земной жизни и не нашедшего ничего взамен.

Русский религиозный нигилизм, возникший из нравственного протеста против церковного злоупотребления христианской верой, имеет за собой темную историю окольного богоискательства — от радикальных толков древнего благочестия до деструктивных сект нового времени. В начале прошлого века один божий человек из сектантского подполья открыл Максиму Горькому великую тайну: *Христос прячется от попов, попы его заарестовать хотят, они ему враги, конечно! А Христос скрылся под Москвой, на станции Петушки*. Много лет спустя сакральный топос этого места подтверждает Венедикт Ерофеев. *Петушки Он стороной не обходил. Он, усталый, ночевал там при свете костра, и я во многих душах замечал там пепел и дым Его ночлега*. Если над пеплом курится голубой дымок, похожий на дым «Беломора», — значит, под пеплом тлеет негасимая божья искра.

(О, эти непостижимые и недостижимые Петушки, потерянный рай, потаенный топос сакральных событий и чудесных явлений — *место, где не умолкают птицы ни днем ни ночью, где ни зимой, ни летом не отцветает жасмин. Первородный грех — может, он и был — там никого не тяготит. Там даже у тех, кто не просыхает по неделям, взгляд бездонен и ясен...* это место в поэме я знаю наизусть; по счастливому стечению обстоятельств, я появился на свет в роддоме на станции Петушки, и хотя по младенчеству ничего из тех дней не запомнил, эти строки полнят мое сердце мистической ностальгией.)

Тому, кто оторвался от земли и не дошел до неба, уже ни в чем не найти утешения. Что такое религиозный нигилизм? — Аннигиляция эроса и танатоса, выделяющая негативную энергию, которую можно передать парадоксальными метафорами — темный огонь и спящая тьма. Того, кто не ответит внутренним взором от видения незримого, одолевает соблазн падения в разверзшуюся бездну. Чтобы не поддаться этому искушению, надо предаться другому.

Философ Владимир Библихин в трактате «Пора (время-бытие)» оставил такое замечание: *есть пьянство до трезвости; такое было у Венедикта Ерофеева, — когда опьянение открывается как единственная и сплошная всегдашняя истина мира*. Сам Ерофеев рассуждал так же. *Не зря же медицина проводит аналогию между состоянием опьянения и состоянием религиозного экстаза*. Увы! Эта аллюзия всего лишь иллюзия: систематическое пьянство незаметно переходит в хроническое; алкоголизм — нигилизм на физиологическом уровне. Алкогольное отстранение от действительности как способ существования в мире абсурда есть утверждение абсурда; это в математике минус на минус дают плюс, а в метафизике так не бывает. Зло, умноженное на зло, злее втрое. Относительная истина, образовавшаяся в итоге неверно решенной жизненной задачи, — мнимая величина. Нигилист, достигший негативной цели, впадает в ничтожество.

«Москва — Петушки», *opus magnum* маргинально-го гения отечественного постмодернизма — парадигматический текст национального самосознания, пребывающего в перманентном кризисном состоянии. Ста страниц этой трагикомической поэмы оказалось достаточно, чтобы изменить наши представления о чудотворных свойствах великого, могучего, правдивого и свободного русского языка.

Бесстыдное и безрассудное откровение русского андеграунда в короткие сроки обрело популярность в массовом самиздате и авторитетность в культурной элите. При том что до конца жизни писатель Венедикт Ерофеев не имел никакого литературного статуса. Для власти предрежащей он был настолько никто, что за рубежи страны его не выпустили даже на лечение — как не имеющего надлежащего трудового стажа.

За три года до смерти, последовавшей в 1990 году, Венедикт Ерофеев крестился. Но и тут пошел поперек модного тренда воцерковления интеллигенции — крестился по католическому обряду; православную церковь он не любил за то же, за что не жаловал предрержающую власть — за отдельность от людей. Однако отпевали его по православному канону. На поминках скорбели ближние люди и плакали, обнявшись, обе его жены — первая, петушинская, многострадальная мать его единственного сына (самого кроткого из всех младенцев, уже в три года знавшего букву «ю»), и вторая, московская, приютившая в своей жизни его неисцелимую беду и покончившая с собой после его смерти.

Среди великих писателей земли русской Венедикт Ерофеев стоит наособицу. Собственно говоря, ему не привыкать. Не стремясь к успеху и не уклоняясь от

славы, он на дух не выносил казенного пафоса и не поддавался давлению общественного мнения. И не любил, когда ему лезли в душу. *Оставьте мою душу в покое...* Ибо душа — заветное место в метафизическом плане существа вида *homo sapiens*, где человеческая самость встречается с божественной сущностью. Какие потемки не были бы в душе, место встречи изменить нельзя.

В отношении к непостижимой и недостижимой правде жизни русский мир делится на два разных народа: тех, кто с полуслова понимает то, о чем словами не скажешь, и тех, кому этого никогда не понять. Короче, на читателей поэмы Венедикта Ерофеева и всех остальных. То, что до ужаса ясно первым, вторым не втолковать. Даже после третьего стакана «Сучьего потроха» (*это уже не напиток — это музыка сфер!* Рецепт см. в главе «Электроугли — 43-й километр») в них так и не явится ничего трансцендентного, разве что вытошнит из них с непривычки немного имманентного. Вытащить их из земных иллюзий можно разве что с божьей помощью. Умный человек не возьмется за этот сизифов труд. Чтобы не выглядеть большим дураком, чем на самом деле. Что сказал доктор в пьесе «Вальпургиева ночь»? — *В дурдоме не умирают*.

Веничка Ерофеев, автор и герой нигилистической трагедии, — разочарованный странник, не нашедший себе места в этом мире и не обретший уверенности в ином. Что вышло в мораль его жития? Разве что ерническая сентенция — *научись скорбеть, а блаженствовать — это и дурак умеет*. Да и какой прописной морали можно было ждать от религиозного нигилиста? Как сказал сам автор, он же сквозной персонаж своего творчества, — *кроме того, что мы знаем, мы не знаем ничего*. Ничего. *Нихиль*, — как выражались древние римляне. А выразиться по-нашему, так несказанное скажется еще яснее: *ни...* Кто не догадывается, что скрывается за деликатным многоточием, пусть спросит любого россиянина старше пяти лет, знающего букву «х», а также буквы «у» и «я».

Трагедия религиозного нигилизма устремлена к духовному катарсису через кризис самосознания. В обезбоженной душе неслиянно и нераздельно сосуществуют остаточное сияние райского света и открывшееся зияние адской бездны; в скорбном разуме, обожженном темным огнем и погруженном в спящую тьму, происходит немислимый синтез сокровенной тайны и очевидной истины: по чудесному определению Лотмана — *мерцание смысла*. Священный огонь прогорел, но остался пепел от костра, у которого грелся гонимый Христос, и тайный стыд, словно едкий дым, гонит на глаза невидимые миру слезы. Сквозь линзу незримых слез (как говорил Ве-

ничка, с моей потусторонней точки зрения) путь жизни видится как крестный путь — хождение по мукам, целью которого являются обетованные Петушки, где первородный грех искуплен перенесенными страданиями.

Когда кто-то заметил, что Ерофеев смеется так, словно у него на совести нет ни одного смертного греха, его ближайший друг Вадим Тихонов сказал, не раздумывая: *у него все грехи бессмертные*. Воистину так. И главный грех, за который простятся все остальные, — созданное им евангелие русской тоски, которая есть не что иное, как любовь грешного человека к покинувшему его Богу. Неразделенная. Но не напрасная.

## 5. СТРАДАНИЯ УЯЗВЛЕННОЙ ДУШИ

**В**се, что было однажды, исчезает так безвозвратно, что живущим после кажется, что прежде ничего не было. По крайней мере, ничего такого, без чего нельзя обойтись. Чтобы покрыть убыток бытия, своих забот хватает с лихвой...

Убедительные свидетельства утраченного времени оставляют современники, думавшие поперек общего мнения. В разногласии эпох авторитетны не те голоса, что поют хвалы божьему промыслу, а те, что (по старинному определению юродства) *ругают миру*.

В литературной истории русского инакомыслия первым стоит протопоп Аввакум, нещадно обличавший неправду, отложившуюся в темных умах. Скрытый стержень риторики строптивного протопоба — ржавая игла нигилизма: *ничтоже суть...*

Полемику с действительностью в истоках русской классики продолжает публицистика Александра Радищева. *Я взглянул окрест меня — душа моя страданиями человечества уязвлена стала. Обратил взоры мои во внутренность мою — и узрел, что бедствия человека происходят от человека, и часто от того только, что он взирает непрямо на окружающие его предметы. Ужели, вещал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно сокрыла истину навеки?*<sup>1</sup>

На другом конце литературной хроники та же тьма застит глаза Венедикта Ерофеева. *Я остался на площадке в полном одиночестве и полном недоумении. Это было даже не совсем недоумение, это была все та же тревога, переходящая в горечь... почему за окном темно, скажите мне пожалуйста... о, какая чернота! и что там в этой черноте — дождь или снег? или просто я сквозь слезы гляжу в эту тьму? Боже!*<sup>2</sup>

Что характерно, во всех выше цитированных текстах писатель и повествователь сливаются в одном первом лице; душа, уязвленная страданием, говорит от себя и о себе. Но страдает за всех и каждого.

Насколько русский человек, взятый в его историческом развитии, духом обращен к небесам и насколько душа его склонна к земным соблазнам — вопрос безответный. Все усилия мыслителей оказались напрасными — видать, и впрямь умом Россию не понять. Ближе к сути подходит родная литература. Однако у каждого великого писателя земли русской своя правда: и между собой они не вяжутся, и с прописными истинами ни одна не сходится. И чем выше критерии нравственности, предъявленные словесностью, тем дальше они, к несчастью нашему, от действительности. Все поражения идеализма в правах на действительность укрепляют в массовом сознании позиции нигилизма. Ни христианская вера, ни коммунистическая идея не смогли доказать в историческом опыте свое соответствие условиям человеческого существования...

Тень ангела скользит по трепетной поверхности реки времени, едва угадываясь в зыбких очертаниях, — а в темной глубине, в тихом омуте повседневной жизни, водятся черти. Видимо, именно от них, метафизических подонков, мы перенимаем злые мысли и подлые повадки. Знамо дело: с кем поведешься, от того и наберешься.

Когда Николай Гоголь в «Выбранных местах из переписки с друзьями» выразил убеждение, что *русский народ абсолютно православный, абсолютно христианский*, Виссарион Белинский, не простивший бывшему другу новообретенного фарисейства, возразил столь же убежденно: *русский народ — народ суеверный, а не христианский*. Оба оппонента, высказываясь противоположно, не сказали по этому вопросу ничего нового. Прения о вере были начаты в незапамятные времена, и конца им не видно.

Вопрос продолжает стоять ребром, не склоняясь определенно ни в одну сторону. Что такое в религиозном срезе русский народ — богоносец или богоборец? Бог весть. У специалистов по национальной идентичности выходит то так, то этак. Видимо, окончательное решение русского вопроса будет вынесено в конце истории. А пока гром не грянет, мужик не перекрестится; в основе народного характера не столько неверие в Бога, сколько недоверие Ему. В самом крепком выражении бесцельной и бессильной ярости — *в бога душу мать!* — странно смешаны ругательство и кощунство. Выразился в сердцах, и больной душе вроде как чутьчку полегчало...

Русская матерщина (*лая матерна*) — исконный язык народного нигилизма. А тем, кто сызмальства

<sup>1</sup> Александр Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву».

<sup>2</sup> Венедикт Ерофеев. «Москва — Петушки».

привычен к матерным выражениям, трудно вместить велеречивую риторику церковного языка; праведность для них не совместима с действительностью.

Человек, душа коего уязвлена страданиями человечества, в глазах обывательского большинства похож на душевнобольного. Таков Чацкий, герой пьесы Александра Грибоедова «Горе от ума». Осуждающий всех, он отчуждается всеми. На смену ему приходит разумный эгоист Базаров, литературное явление рационального нигилизма. Но и он не смог надолго удержать внимание просвещенной публики, пресыщенной обличениями очевидного.

Идейный наследник Евгения Базарова — Иван Карамазов: ученик, прошедший дальше учителя. Если нельзя урегулировать раздор вероятностей, нужно урезать разброс возможностей, ограничив свободу человека осознанной необходимостью. *Нет, широк человек, слишком даже широк, я бы сузил.* Эта риторическая формула стала директивной установкой всех социальных экспериментов XX века. С поправкой на то, что рискованную идею умника Карамазова проводит в жизнь циник Смердяков, — по своему разумению. Так что Достоевский, зрящий в корень зла, не напрасно тревожился за судьбу человека, уложенного на прокрустово ложе политической теории.

Понятие о нигилизме в общественном сознании современников Тургенева и Достоевского было смутным; одни считали нигилистов модными циниками, другие — опасными чудаками. Но для беспокойной молодежи, вечных студентов с уязвленной душой и воспаленным разумом, нигилизм явился соблазном освобождения от житейской рутины. Выразителем смутных надежд переходного времени стал критический экстремист Дмитрий Писарев, а идеологом — аскетический максималист Николай Чернышевский. Их преданный читатель Василий Слепцов, поддавшийся гипнозу нигилизма, организовал в Петербурге коммуны — своего рода общежитие «новых людей» обоего пола. Согласно замыслу, жизнь в коммуне должна была быть организована на социалистических началах. Однако, по мнению обывателей, артель больше напоминала бордель. И более того, когда в Петербурге случились большие пожары, общественное мнение заподозрило идейных нигилистов в целенаправленных поджогах. Почему нет? От таких всего можно ждать...

В контексте споров о нигилизме язвительный Петр Вяземский заносит в записную книжку следующее высказывание. *Есть на языке нашем оборот речи совершенно нигилистический, хотя находившийся в употреблении до изобретения нигилизма и употреб-*

*ляемый ныне вовсе не нигилистами. «Как вам нравятся эта книга?» — «Ничего». — «Довольны ли вы своим губернатором?» — «Ничего». И так далее...<sup>1</sup>*

«Ничего». Это донельзя банальное словцо, в котором всякий смысл рассеивается в семантической пустоте, можно назвать расхожим выражением латентного нигилизма, получившего художественное воплощение в творчестве Антона Чехова, пожалуй, самого безыдейного автора русской литературы. Вот характерное замечание, в котором проявляется вырождение духовного содержания уходящей эпохи. *Нужно уважать и свое равнодушие и не менять его ни на что, так как равнодушие у хорошего человека есть та же религия<sup>2</sup>.* Этос декаданса — терпимость ко всему, дурному и доброму. Ничего-с, как-нибудь обойдется... Не обошлось.

Катастрофа, постигшая Россию, верующими современниками осознавалась как божья кара. А с точки зрения диалектического материализма пролетарская революция была закономерным крахом старого миропорядка, разъеденного изнутри коррозией мировоззрения. Согласно догмам марксизма, пролетарий суть нигилист в чистом виде, чье историческое предназначение — уничтожение отжившего.

В те дни, которые Иван Бунин назвал *окаянными*, народ в большинстве своем решил, что на бога надежды больше нет, — и нигилизм в форме большевизма заполнил в массовом сознании пустоту богооставленности. Очевидец окаянных дней Василий Розанов свидетельствует. *И странно. Всю жизнь крестились, богомоллись; вдруг смерть — и мы сбросили крест... Переход в социализм — и, значит, в полный атеизм совершился у мужиков, у солдат до того легко, точно в баню сходили и окатились новой водой<sup>3</sup>.*

Диктатура пролетариата породила репрессивный режим, при котором следование моральному закону и нравственному долгу становилось делом рискованным. Выживание в жестких рамках тоталитарной системы легче всего давалась латентным нигилистам, без зазрения совести меняющим убеждения на понятия. Внедряясь в кровь и плоть советской власти, нигилизм устанавливает неписанные правила жизни. Внутренняя оппозиция социализму избегает открытой конфронтации, предпочитая устраивать свой жизненный интерес в русле житейского конформизма. Причем так успешно, что с течением времени в устройстве государства от идеологии остается только фразеология. Постепенно правящая элита в большинстве своем оказалась в системной оппозиции к преж-

<sup>1</sup> Петр Вяземский. «Старая записная книжка».

<sup>2</sup> Антон Чехов. «Записные книжки».

<sup>3</sup> Василий Розанов. «Апокалипсис нашего времени».

нему режиму власти, и государственный проект под брендом СССР распоряжением сверху был объявлен недействительным. Как так вышло, никто тогда не понял, А потом стало не до того.

Советской власти не стало, но в нравственном устройстве нашего общества мало что изменилось по существу. Идеологией государства, лишенного социальной целесообразности, стала демагогия. В информационном пространстве все врут друг другу, но наваждение лжи не в силах захватить массовое сознание, поскольку никто ни во что не верит. Вырожденная форма нигилизма — пофигизм, который метастазами ничтожности пронизывает ментальное тело современного консюмеризма (господствующей идеологии потребительства). *Как жизнь? — Ничего; живем-позживаем, добра наживаем... А что сверх того, нам по фигу.* Другими словами, взятыми из сленга пофигизма, — пусть власть предержавшая гонит пургу, а нам по хрену метель... И как бы ни ярлись средства массовой информации, борьба либералов с патриотами по существу никого не задевает за живое, включая тех нигилистов, которые играют в либералов и патриотов.

Но *ничего* не бывает долго, все, что не стремится стать лучше, становится хуже: ничего обращается сначала черт-те во что, а потом в ничто. Высшая стадия религиозного нигилизма — эсхатология: последняя надежда на конец света. Ибо нищим духом терять нечего. Пожалуй, смертная тоска уязвленной страданиями души нигде не выразилась с такой отчаянной силой, как в песне Владимира Высоцкого «Кони привередливые»:

Вдоль обрыва,  
по-над пропастью,  
по самому по краю  
Я коней своих нагайкою стегаю,  
погоняю...  
Чую с гибельным восторгом:  
пропадаю, пропадаю!

О, этот гибельный восторг, судорожное торжество мятежного духа, когда неизбежное поражение оборачивается пирровой победой... победой без победителей, не удержавшихся на краю существования.

Если среди шума и ярости, переполняющих пустое сердце современности, каким-то чудом найти свободное от страстей место, в наступившей тишине можно расслышать поступь истории; ритм времени похож на стук копыт. Четыре всадника Апокалипсиса, карательный отряд специального назначения согласно директиве свыше придвигаются из крошечной тьмы к горизонту событий. Все, что им противостоит в мире,

разъеденном нигилизмом до самых основ, — надежда, которая умирает последней.

Хриплый голос пропавшей души, истерзанной напрасными страданиями, не то умоляет неотвратимое, не то заклинает неумолимое: *чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее...*

## 6. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧЕРЕЗ ОТЧУЖДЕНИЕ

**О**дин вдумчивый читатель предыдущих заметок о нигилизме и нигилистах высказал автору свое недоумение: *все больше перестаю понимать, что такое нигилизм.* Как автор мог ответить на опосредованный укор в некорректности и неконкретности дискурса? Разве что чистосердечным признанием: *я тоже...*

Это не первый случай, когда в конце работы над текстом я имею больше сомнений по поводу предмета размышлений, чем в начале. Особенно когда тема настолько проблематична, что опорные понятия в рамки словарных значений не укладываются. Чем добросовестнее стараешься разобраться в спорном вопросе, тем больше перестаешь понимать, насколько актуальны, если актуальны вообще, прежние договоренности о терминах, на которых зиждется существующий порядок мысленных вещей.

Достаточно одного примера, чтобы понять, насколько расстроена логическая основа системы взаимопонимания. Если раньше любой человек среднего ума и среднего образования мог более или менее толково объяснить, что такое «либерализм», сегодня даже самые продвинутые лидеры оппозиции, устраивающие бардак под либеральным брендом, не отвечают за базар. Спрашивается: почему любая белиберда, если она маркирована как либеральная, вопреки словарному значению понятия<sup>1</sup>, постулирующего свободу мысли, обретает непререкаемость идеологической догмы? Если не мудрствовать лукаво, ответ прост: под видом либерализма в общественном мнении обустроился политический нигилизм, паразитирующий на риторике протестного дискурса.

Все, что сказано выше о вырожденном либерализме, в той же мере применимо к выморочному патриотизму. Организованные сверху патриотические акции в плане выражения суть официозные манифестации, базирующиеся на недоверии власти к рассудительности народа и вызывающие в народе неверие в разумность власти. Спрашивается: зачем собирать людей в толпу, чтобы внушать им гордость собой? Рядовой гражданин своего отечества, я живу в обжитой тесноте российской действительности, и мой здравый

<sup>1</sup> От лат. liberalis — свободный.

смысл исходит из русской ментальности. Моя анкета в политическом плане *tabula rasa*<sup>1</sup>: не был; не состоял; не участвовал. Но когда власть старается взять под контроль мою совесть, я оказываюсь в оппозиции к ней. Я в своем праве и в своем уме и никому из номенклатурных патриотов не позволю учить меня любви к своей стране. Тем более натравливая на тех, кто думает не так, как предписано директивой сверху, составленной, по всей вероятности, темными людьми с холодным сердцем и злым умом. Для очевидца властных злоупотреблений, склонного к философской рефлексии, форсированное нагнетание казенного пафоса в патриотическую тему не столько скрывает, сколько обличает засилье нигилизма в господствующей идеологии.

Проникновение негативизма в принципы социального устройства касается не только и не столько ситуации в нашей стране — это, видимо, хроническая болезнь мировой цивилизации. *Нигилизм отнюдь не является побочным следствием идеологической пропаганды, — негативные вероятности укоренены в самих идеологемах, которые распространяются метастазами по всему обществу*<sup>2</sup>. Критическое утверждение современного философа не столько тезис, сколько диагноз.

Зараза нигилизма обладает высокой вирулентностью: проникая под видом здорового скепсиса в любую систему взглядов, активный агент ничтожности внедряется в ядро мировоззрения и приводит к разложению базовых идеалов. Выделение вредных отходов ядерной реакции в информационное пространство заражает окружающую среду опасным цинизмом. От позитивных принципов, конституирующих социум, остается пустая риторика, поддерживающая видимость социальности. В зависимости от личных интересов законспирированный нигилист может позиционировать себя как мятежника против режима власти или защитника существующего порядка вещей — в любом случае его позиция не более чем фикция, прикрывающая зияние в мировоззрении.

Обращение к этой болезненной теме мотивировано желанием автора избежать отравления негативными результатами собственного экзистенциального опыта, продолжающегося в настоящем времени. Легко жить не думая... а стоит задуматься о жизни — голова клонится долу от тяжести выводов. Когда сумма сомнений превышает нормативные значения, на душу находит опустошающее ощущение сущей ничтожности и своей никчемности. Вконец расстроившись в себе, обращаешься к чужому жизненному опыту: как

справлялись с житейской тоской другие, чья судьба могла бы стать примером? Увы! Чаще всего внутренняя драма творческих натур, отложившаяся череполосицей строк в исповедальных книгах, заражена негативизмом в особо тяжелой форме. (*И почему это пишут книги чаще всего люди злые и несчастливые?*<sup>3</sup>) И все же, как ни странно, у читателя, узнавшего в чужом горе избирательное сродство со своей бедой, становится легче на душе. Через сопереживание кризиса, исследованного испытателями страдания в пограничных состояниях, читатель может изведать и избыть в себе опасную склонность к саморазрушению, присущую неустойчивой личности.

В учении Аристотеля о назначении искусства ключевым понятием является *catharsis*<sup>4</sup>, означающее позитивное воздействие воображаемого на личность человека. В начальной античности этим емким словом означалась магическая практика врачевания. В теории классического искусства термином *катарсис* принято обозначать нравственное очищение, достигаемое художественными средствами. Возвышенный опыт образуется в нас в процессе живого сопереживания персонажам, чья участь трагична, а личность героична: из мужества рождается достоинство, в котором гордый дух может пережить затяжную осаду окружающей ничтожности.

Спустя много эпох наука заново открыла терапевтический эффект сопереживания. В учении Фрейда переформатированный термин *катарсис* употребляется для обозначения одного из методов психотерапии, направленного на очищение психики от вредных отходов. В результате острой реакции пациента на болезненные воспоминания, выведенные из заточения в памяти на сцену сознания, происходит освобождение от скрытых внутренних конфликтов. Влияние фрейдизма на всю сферу гуманитарных знаний неоспоримо; современное искусство целенаправленно провоцирует в человеке мятеж против тоталитарной власти жизненных обстоятельств, имея целью освобождение возможностей, репрессированных диктатурой рассудка. Однако любой бунт связан с моральным риском: вместе с узниками совести на волю можно выпустить чудовищ, рожденных снами разума и заточенных в лабиринте мозга. Кто стал на путь, ведущий от смятения духа к помрачению ума, тому трудно остановиться на золотой середине.

В этом цикле текстов я ничтоже сумняшеся хотел перезагрузить понятие нигилизма, на мой взгляд, охватывающее всю совокупность негативистских убеждений, разрушивших изнутри классический гу-

<sup>1</sup> Чистая доска (лат.).

<sup>2</sup> Андре Глюксман. «Достоевский на Манхэттене».

<sup>3</sup> Карел Чапек. «Насморк».

<sup>4</sup> Возвышение, очищение, оздоровление (греч.).

манизм. Прогрессирующий нигилизм в моем понимании — системный сбой в программной установке критического разума: символическая коррупция в системе ценностей, последовательно превращающая что бы то ни было в ничто. Это процесс дьявольски привлекателен для мятежного гегелевского духа, преступившего кантовский моральный закон в сердце и вышедшего за пределы здравого смысла. Риторика протеста — наркотик ума. В зараженном нигилизмом разуме скальпель Оккама, отсекающий ложные измышления от позитивного знания, становится орудием мысленного суицида.

Так что же такое нигилизм, если проследить генезис этого одиозного понятия? Впервые этот термин употребил философ Фридрих Генрих Якоби, оппонировав критицизму Канта с позиций классического романтизма. Но в основное течение общественной мысли нигилизм внедрил Фридрих Ницше — мятежник от философии, ворвавшийся в храм мудрости с молотом, чтобы сокрушить идолов, рабское поклонение которым, по его мнению, мешает человеку стать сверхчеловеком. Ирония истории в том, что его модернистское учение, предложившее нигилизм как радикальное средство против вырождения, в извращенном виде получило признание циников и фанатиков: ницшеанство стало модным дискурсом декаданта и идейным обоснованием фашизма.

Согласно социологу Эриху Фромму, нигилизм как идейная установка возникает в результате конфликта двух факторов формирования личности: самостоятельности и социальности. Согласно психологу Вильгельму Райху, нигилизм — тип невроза, при котором конфликтная фабула выражается в патологической организации личности в целом. Согласно философу Андре Конт-Спонвиллю, нигилизм есть своего рода отрицательная религия — Бог умер, унося с собою все, что считалось плодом его творения, — бытие и ценность, истину и благо, мир и человека.

Авторитетный словарь Брокгауза определяет нигилизм в самом общем смысле. *Нигилизм — любая точка зрения, основанная на отказе от существующих конвенций, отрицании возможности общезначимого познания, социальных и политических отношений или какой-либо иерархии ценностей*<sup>1</sup>. Явление человека, не различающего и не разделяющего в себе доброго и злого начала, равнозначно исчезновению человечности.

Драма жизни радикальных нигилистов, от Диогена до Ницше, представляет трагедию личности, злоупотребившей способностью к критическому суждению. Для зараженного нигилизмом сознания

модусом существования становится конфронтация с историей. Стратегия разума, переходящего границы здравого смысла, — концентрация всего мира в пределах своего эго. Однако это средство, умеряющее страх пустоты, вызывает привыкание, вынуждающее повышать дозы скепсиса, и незаметно для себя ревнители протеста из мятежников превращаются в маньяков. Захватив инициативу, агрессивное меньшинство навязывает большинству свое бешенство в качестве социального обязательства. Когда цепная реакция распада общественных отношений выходит из-под контроля, конформизм обывателей перерождается в коллаборационизм. Общество, осажденное изнутри, оказывается под властью предателей.

Собственно говоря, нечто в этом роде происходит на наших глазах. Рухнет система принципов, составлявшая договорную основу мирового порядка. Нигилизм, под видом релятивизма утвердившийся в идеологии неолиберализма, разъедает все конвенции и превращается в социальный цинизм. Не лучше обстоят дела в теории и практике неоконсерватизма: когда матрицей общественного сознания вместо идейной парадигмы становится пустая догма, механизмы государства начинают работать в обратную сторону; голая идеология воспроизводит в провалах коллективной памяти утраченные иллюзии.

Разлад в ментальности имеет следствием распад действительности. В постмодернистском дискурсе, привившем пресыщенному общественному сознанию лень духа, стираются различия между реальным и виртуальным. Коллективная галлюцинация становится устойчивым наваждением потребительского общества. Участь тех, кто сохраняет трезвость на пиру во время чумы, — *переживание совершенно непонятной, приводящей в растерянность, слепоты людей перед тем, что есть*<sup>2</sup>. Участь философа — освобождение через отчуждение.

Обобщая сказанное, я бы ответил на недоумение, вызванное этими заметками, следующим образом: нигилизм для меня охватывающая метафора негативизма, заложенного в изнанке позитивного знания — самодовлеющего и самовозрастающего сомнения, что искушает мышление осознанием ничтожности. В разных временах нигилизм имеет свой образ. В разных умах негативизм имеет свой вектор. Однако в скрытой мотивации всех деструктивных тенденций можно обнаружить нечто общее. Если внутреннее противоречие присущей человеку способности к критической рефлексии выразить в терминах психоанализа, то встроенную в разум радость познания можно определить как эрос разума, а потаенную страсть к мыс-

<sup>1</sup> «Брокгауз. Философия: концепции, мыслители, понятия».

<sup>2</sup> Мераб Мамардашвили. «Введение в философию».

ленному садомазохизму — как танатос. Их скрытым противоборством определяется особый характер человеческого существования. Однако, как ни переменчива судьба человека, в здоровом рассудке резон жить сильнее любых аргументов от обратного: *dum spiro — spero*<sup>1</sup>.

Дух живой дышит где хочет — и пока он есть в нас, мы можем надеяться, что ментальный иммунитет разума сумеет преодолеть в себе болезнь нигилизма, и человечество более или менее благополучно доживет до конца истории.

## 7. ЖИЗНЬ КАК УТВЕРЖДЕНИЕ ЖИЗНИ

**Н** и одно мировоззрение не может вместить мироздание иначе, как собранием в уме разрозненных образов, обусловленных согласием между ними. В сфере сознания порядок мысленных вещей определяет сбалансированная система воображения и сомнения. Человек — мера всех вещей... Доколе он знает меру критическому суждению; системный сбой в идейных убеждениях деформирует структуру личности. Отравление пафосом порождает фанатизм; отравление скепсисом вызывает цинизм.

Природа сознания на инстинктивном уровне сопротивляется соблазну интеллектуального извращения. Однако разумное существо, в отличие от неразумного, наделено свободой воли, и если в лабиринте мозга заведется навязчивая идея, дурная страсть может преодолеть резоны здравого смысла. Вовлеченный в соблазн, человек утрачивает благоразумие. Заблуждение, подержанное воображением, развивается в манию; подозрение, разъеденное сомнениями, перерастает в паранюю. Вольномыслие, вышедшее из-под морального контроля, переходит в своеволие — и душа, оторвавшаяся от метафизического корня, мучительно расчеловечивается. Распадается связь времен, физического и исторического, и граница между мирами, внутренним и внешним, становится линией фронта. Нигилист — переродившийся в себе идеалист: фанатик и циник в одном лице. Засилье нигилизма в общественном сознании — главная проблема человеческой цивилизации, чье дальнейшее существование зависит от согласия людей.

Нигилизм в гносеологии (теории познания) является сильнодействующим средством от заражения критического разума умозрительными иллюзиями. Символом гносеологии может быть старинная эмблема медицины: змея, обвившая чашу: змеинный яд может служить и жизни, и смерти — в зависимости от применения. Недаром в библейской аллегории змей

обвивает ствол древа познания добра и зла; гносеологический исток нигилизма — вождление мятежного духа к голой истине.

По своему генезису нигилизм не злая воля порочного ума, а превентивная мера по защите сознания от состояния застоя. Разумное существо, в отличие от неразумного, не может и не должно пребывать в ливном удовлетворении условиями своего существования — организм стремится к гомеостазу, а разум томится праздностью. Забота вонзается в душу, как жало в плоть; активное сомнение становится испытанием способности ума к самостоятельному мышлению. Следовательно, явление нигилизма обусловлено духовной необходимостью.

Однако судьба нигилистов нелегка и незавидна... Изъясняя метафизическую разность между божьим промыслом и моральным законом, Иисус постулировал ответственность человека за выбор жизненной позиции: *невозможно не прийти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят*<sup>2</sup>. Взяв это высказывание на веру, можно сделать вывод, что явление нигилизма, реликтовое излучение изначального *ничто* в сферу бытия, входит в условия человеческого существования, — но нигилисты, как служители сущей ничтожности, обречены на уничтожение.

Радикальные философы, начиная с Диогена, достигают мысленной независимости от общего мнения в результате рискованных экзистенциальных экспериментов, поставленных на себе. То же художники, чья жизнь в искусстве обусловлена креативными стрессами. Маргинальный опыт — черный ход из окружающей действительности; в разрыве между свободой мысли и свободой совести открывается путь на волю... Дорога *никуда*. Ибо конечная причина нигилистического соблазна — сущее *ничто*. На каком-то этапе разуму, пораженному прогрессирующим нигилизмом, это становится понятно. Однако к этому времени уже пройдена точка невозврата. Зов бездны в поврежденном рассудке сильнее, чем голос совести, предостерегающий душу от падения в черную дыру, где ничего нет и быть не может.

В мире постмодерна эпистемологическая неуверенность, объявленная ментальной основой толерантности, стала стратегическим ресурсом нигилизма. Если мера, отделяющая добро от зла, более не действительна, что тогда человек? Нечто, не имеющее собственного значения. А если так, то все дозволено...

Состояние вседозволенности, обусловленное господством нигилизма — внутренняя трясина в современном мировоззрении. Не время задаваться вопросом, кто виноват в том, что система мира оказалась в

<sup>1</sup> Пока живу, надеюсь (лат.).

<sup>2</sup> Евангелие от Луки 17:1.



тотальном кризисе, — пора всерьез задуматься о том, что делать дальше. Общая задача более или менее ясна. Прежде всего, человечеству в целом надо обрести в себе решимость к продолжению истории другими средствами. Преодоление обстоятельств места и времени мыслится как преобразование условий человеческого существования. Если иначе невозможно, нужно сделать невозможное.

Как известно, однажды на охоте легендарный барон Мюнхгаузен угодил в трясины. *Положение было отчаянным. Надо было выбирать одно из двух: погибнуть или спастись. Но как? И тут меня осенило. Голова-то всегда под рукой, господа! Я схватил себя за волосы и потянул что есть силы. Рука у меня, слава Богу, сильная, голова, слава Богу, мыслящая... Одним словом, я рванул так, что вытянул себя из болота вместе с конем<sup>1</sup>. Как сказал поэт по сходному поводу, его пример — другим наука...*

К середине этого века у человечества, все глубже увязавшего в наболевших проблемах, не останется другого выбора, кроме как между гибелью и спасением. Значит, не полагаясь более на божью помощь, ему придется самому сотворить чудо. Почему бы и нет? Техника у нас мощная, а голова мыслящая... Если человечество сумеет освободиться от гипноза нигилизма и взяться за ум, оно сможет вытащить себя из исторической трясины, засасывающей цивилизацию, — вместе с планетой, ввергнутой гонкой технологий в экологическую катастрофу. Если, конечно, к этому времени homo sapiens в массе своей не выживет из ума.

Каким образом может и должно произойти избавление от наваждения пустоты? Самым что ни на есть разумным способом. В плане познания сущего в разуме явлены два модуса отношения мыслящего к мыслимому: идеализм и нигилизм. В зависимости от их соотношения складывается топос существования: каждый живет в том мире, какой сотворен в его голове. Чем обусловлена личность, так обустроена ее действительность. Значит, для своего спасения человечеству нужно целенаправленно и целесообразно менять отношение сознания к бытию, то есть парадигму существования.

К сему суждение современного философа, скептика и агностика Андре Конта-Спонвиля; рассуждая о соотношении идеальности и действительности, он делает следующий вывод: *...и добро, и справедливость существуют лишь в той мере, в какой мы придаем им значение. <...> Мы не потому должны подчиниться справедливости, что она существует (это догматизм), и не потому должны от нее отмахнуться, что*

*ее нет (это нигилизм), — именно потому, что справедливости нет (она существует только в наших мыслях и живет лишь в наших сердцах), мы должны за нее бороться. Что мы можем противопоставить догматизму? Здоровый смысл и терпимость. А нигилизму? Любовь к ближнему и смелость<sup>2</sup>.*

В здоровом уме, поставленном под угрозой потери смысла, свобода мысли должна осуществиться как осознанная необходимость совести. Не понимать этого дальше уже нельзя. Если основополагающее и конституирующее значение нравственных идеалов будет признано и осознано в мировом масштабе, законом общества станет установление справедливости, а основой существования — утверждение жизни. Иначе само наше присутствие в мире окажется под сомнением.

После всех деклараций отчуждения и выражений отчаяния, которыми перенасыщено жизненное пространство, хочется поверить надежде, которая умирает последней. Ибо все может выжечь дотла в падшей душе темный огонь нигилизма, но только не извечную *самость* — метафизическую основу человеческой личности. В поэзии Булата Окуджавы, последнего идеалиста русской литературы, *надежда* — кодовое слово, открывающее душу спасению.

В земные страсти вовлеченный,  
я знаю, что из тьмы на свет  
однажды выйдет ангел черный  
и крикнет, что спасенья нет.

Но простодушный и несмелый,  
прекрасный, как благая весть,  
идуший следом ангел белый  
прошепчет, что надежда есть.

Черный ангел, глашатай безнадежности — внутренний голос нигилизма. Явившись в мир как мятежный дух, нигилизм сулил освобождение разума от умозрительных иллюзий. Однако на месте прежних миражей в сознании образовалось наваждение пустоты, в которой пропадает душа.

Белый ангел, вестник надежды — внутренний голос идеализма. Судьба человечества зависит от того, как много его отдельных представителей, преодолев в себе негативное наваждение, решатся восстать против режима ничтожества. Ведь есть же среди нас люди, решившиеся стать людьми в полном смысле слова. Наша надежда — в них. Их сила — в нас.

Надежда, благая весть из метафизической глубины божьего мира, не столько истинна, сколько верна. Верна в том совокупном смысле слова, что возника-

<sup>1</sup> Григорий Горин. «Тот самый Мюнхгаузен».

<sup>2</sup> Андре Конта-Спонвиль. «Философский словарь».

ет из синтеза веры и верности — веры в сакральную природу добра и верности священному долгу. Верна в той степени, в которой станет разумной основой согласия в людях. А если будет согласие в главном, все остальное — дело времени. Тогда у всего человечества впереди долгая и счастливая жизнь. Жизнь как утверждение жизни в ее идеальных параметрах — совести, чести и справедливости.

Писатель и мыслитель Александр Радищев, классик и критик просветительского века, всей душой, уязвленной страданиями человечества, оставался верен идеалам гуманизма. *Ужели, вещал я сам себе, природа толико скупа была к своим чадам, что от блудящего невинно сокрыла истину навеки? <...> Разум мой вострепетал от сея мысли, и сердце мое далеко ее от себя оттолкнуло. Я человеку нашел утешителя в нем самом. «Отыми завесу с очей природного чувствования — и блажен буду»... Воспрянул я от уныния моего, в которое повергли меня чувствительность и сострадания; я ощутил в себе довольно сил, чтобы противиться заблуждению; и — веселие неизреченное! — я почувствовал, что возможно всякому соучастником быть во благоденствии себе подобных<sup>1</sup>. Лучшего описания катарсиса через кризис, наверное, не было со времен античности, когда философы, озадаченные этическими проблемами античного социума, ввели в философию эти понятия, связывающие духовную жизнь с душевной.*

В споре идеализма и нигилизма рождается истина. Эта истина не укладывается в логические пределы критического разума. Эта истина нисходит на душу как благая весть — обетование освобождения из безысходности. Ибо сказано: *и познаете истину, и истина сделает вас свободными*<sup>2</sup>. Разуверившись во многом, я отчаянно верю в эту святую правду. И то, что я

агностик, закоснелый в скепсисе, в данном случае не имеет никакого значения. Ибо метафизические истины так же не принадлежат религиозным конфессиям, как физические законы образовательным учреждениям. Не обязательно верить в догматы христианского учения, чтобы взять в разум смысл Нагорной проповеди. И жить в божьем мире согласно моральному закону в сердце, сохраняя разум от наваждения пустоты.

Главная задача критического разума на историческую перспективу — преодоление нигилизма. Коварный соблазн нигилизма заключается в его духовной дерзости: человеку, ежели он не тварь дрожащая, свойственно сметь! Однако критическая работа рассудка должна проходить под контролем совести: освобождение разума от моральных обязательств оборачивается порабощением духа темному началу.

Сокровенная истина, эпистема чистого разума, по определению не может быть негативной установкой. *Я мыслю, следовательно, существую*; этот тезис Декарта — аксиома метафизики. Я существую, поскольку мыслю свое существование. Значит, мышление как таковое, какими бы извилистыми путями оно ни следовало к своей конечной причине, по сути своей не может быть отрицанием смысла жизни, — а только утверждением ее сложности.

Героизм разума в том, чтобы всеми своими возможностями, мыслимыми и немислимыми, оставаться верным истине — и вплоть до конца света противостоять окружающему абсурду. Предел существования — пограничная линия, отделяющая бытие от ничто, и разумное существо вида *homo sapiens* при всей его космической ничтожности — метафизический страж мироздания, стерегущий сущее. Если мы не устоим в себе, в мире не станет смысла. Так выполним же свой долг до конца — каждый на своем месте.

<sup>1</sup> Александр Радищев. «Путешествие из Петербурга в Москву».

<sup>2</sup> Евангелие от Иоанна 8:32.